

Крест Бабича

Этот небольшой участок земли вдоль волжского обрыва давно привлекал моё внимание. Диковатый на вид, заросший жёсткими цепкими степными цветами вперемежку с вихрастым ковылём. С одной стороны его ограничивают дачные постройки. Другой он выходит к окраинам старинного села Хмельёвка. Напротив, через дорогу, зеленеет большое ухоженное Хмельёвское же кладбище.

Но с десяток старых крестов, пошатнувшихся ржавых оградок есть и на участке. Один крест на самом краю обрыва виден издалека. Подошёл к нему. Железный православный крест с кружочками на семи концах. Внизу—большая табличка из нержавеющей стали. На ней свежая гравировка:

БАБИЧ ЯКОВ ВАСИЛЬЕВИЧ
5.01.1863—27.02.1936

Под моими ногами, всего-то копнуть несколько раз, лежали останки человека, увидевшего свет полтора века назад. Ворохнулось в душе. Судя по датам, воевать Бабичу вряд ли пришлось. Разве только в Гражданскую. Но вот голодать на своём немалом веку наверняка приходилось.

Чем же ты занимался, Яков Васильевич? Рыбачил? Огородничал? Хлеб сеял? Богато жил или бедствовал? Добрая ли у тебя жена была? И работающие ли дети? Очень хочется верить, что жил ты, может, и не без греха, но по-человечески, как всем нам заповедано. Трудился не покладая рук, встречал, как положено, праздники, заботился о семье. Одним словом, пользовался благом, когда везло, и терпел, когда приходили несчастья.

Поэтому тебя и не забывают. Вот и табличку обновили, и цветы бумажные не чужие же люди принесли. Значит, род твой продолжается.

И тут только пришло в голову, что этот сиротливый уголок земли был когда-то обычным кладбищем. А бугорки, по которым так неудобно ходить,—остатки могил.

Судя по всему, кладбище было устроено на высоком берегу, как и сама Хмельёвка. Скорее всего, участвовавшие оползни вынудили хмельёвцев перенести его подальше от обрыва. Потом старое и новое кладбища разделила дорога. И оставшиеся на краю могилы оказались предоставлены сами себе.

Закрапал собиравшийся с утра дождь. Но я побродил между уцелевших надгробий, прочитал надписи, где они сохранились. На самом старом кресте просматривалась иконка Божьей Матери. На нескольких крестах уцелели фотографии. Один огорожен новыми блестящими цепями. Но большая часть крестов и пирамидок со звёздами клонится к земле.

Проглянуло наконец солнце сквозь скопившуюся небесную хмарь. Горячие невидимые лучи вновь обласкали всё живое. Ещё раз оглядел участок, редкие оградки и крест Бабича. Подумалось: а хорошо бы, если через сто лет и мой будущий крест так же упрямо смотрел в небо.

Мамины пироги

Кто пробовал пироги моей мамы, тот на всю жизнь запомнил вкус тающего во рту, хорошо пропечённого сдобного теста и всегда ароматной, в меру сочной начинки.

Казалось бы, не так и трудно испечь пирог. Рецептов хватает в любой кулинарной книге. Составные части, как правило, немудрёные. У мамы это были молоко, сахар, яйца, маргарин, растительное масло, дрожжи, соль, столовая ложка водки, ваниль на кончике ножа и мука. А начинка сгодится любая.

Вперёд, хозяйюшки!

Только вначале, по совету моей мамы, не забудьте вынуть на ночь из холодильника яйца и маргарин. И дрожжи проверьте на солонатовость. И тесто замесите не крутое, а мягкое, чтобы отставало от руки. И дырочку сделайте в центре, когда пирог ещё подходит на противне. А когда вытащите его из духовки, не забудьте накрыть чем-нибудь лёгким.

И ещё с десятком мелочей не забыть бы.

Но даже самое строгое следование рецепту не гарантирует удачи. И приготовленный опытным профессиональным кулинаром пирог не всегда становится украшением стола.

Мама рассказывала, что первые свои пироги она, не дожидаясь прихода со службы отца, выбросила в мусорную корзину. Но моя мама училась искусству выпечки, не жалея сил. Ей нравился сам процесс затевания пирогов. И очень хотелось порадовать близких людей.

Запомнилось её всегдашнее волнение, ведь любая мелочь могла свести на нет весь труд, начиная с бессонной ночи, поскольку приходилось вставать затемно, чтобы не упустить подходящее тесто. Она всегда оправдывалась перед гостями: мол, тесто не таким пышным оказалось, начинка немного подвела, надо было — вот не догадалась! — сделать по-другому, лучше. Гости не очень-то прислушивались к этим сетованиям. Они просто наслаждались редким угощением.

Мы переезжали с места на место, следуя офицерской судьбе отца, менялись наши домашние очаги, но румяные мамины пироги по-прежнему оставались самым желанным лакомством. Они были для нас маленьким семейным чудом, живой сказкой. Как бы ни шли дела, душа согревалась от ожидания очередных праздничных пирогов. Хорошо бы с курагой! Но и с яблоками хорошо, и с капустой...

Мама постарела, пироги затевать ей уже не под силу. Сменщиков, увы, не оказалось. Мы с женой попробовали пару раз и забросили — образ жизни у нас иной, всё что-нибудь мешает.

Жаль.

Ах, крокусы...

В конце зимы, прихватывающей, как правило, и март, невольно затоскуешь от нескончаемых морозов и снегопадов. И тогда начинаешь всё чаще вспоминать о крокусах. Ждёшь встречи с ними.

И вот апрель. Утром покрапывало. Но потихоньку тучи разошлись. Голоса птиц оживляют ещё пустынные садовые окрестности. Глазами быстро ощупываешь знакомое место. И вот они, крокусы, выглядывают из чёрной влажной земли. Не подвели. Их ещё зелёные остренькие макушки осторожно осматриваются. Недалеко от них красуются пышными плотными листьями тюльпаны. И настойчивые нарциссы высыпают кружком. Но первыми зацветут маленькие нежные крокусы.

Несмотря на свою малость, крокусы цветут ярко, открыто утверждая своё явление в мир. Это тоже трогает. Жаль, что долгожданное садовое чудо так быстро отцветает. Только что жёлтые и фиолетовые слегка озорные верхушки прямо из земли взмывали к солнцу. И вот они уже завяли, оставив вытянутые, со светлой продольной полоской, листочки, которые быстро затеряются в общей зелёной массе. В саду продолжает разворачиваться привычный порядок жизни. На смену неустойчивой весне спешит жаркое лето с другими прекрасными цветами.

Но взгляд ещё не раз скользнёт по заветному уголку земли. И прыткую тяпку всякий раз останавливаешь, чтобы не поранить в земле драгоценные луковички. Через год они опять порадуют душу.

Пусть звучит дудук

Когда хочется немного отдохнуть душой, включаю нежную мелодию дудука. И с первых звуков доверчиво погружаюсь в её грустный переливчатый поток. Отчего же так завораживают сердце живительные звуки старинной армянской трубки, которую и в руках-то не довелось держать?

Под мягкое звучание дудука вспоминаю о коротких встречах, случайных разговорах с армянами. В жизни таких встреч и разговоров было немало.

Ещё в солдатские годы узнал от сослуживцев-армян, что на их родине в народные праздники всей семьёй идут вначале на могилы русских воинов, спасших армян от турецкой резни в начале двадцатого века, и только потом — к другим святыням.

А со студенческой газетной практики в далёкой степной Питерке запомнил добродушные сетования армянских строителей на то, что они всю жизнь работают на свадьбу и похороны: свадьба должна быть царской, а на могиле должен быть выстроен хотя бы скромный мавзолей.

Недалеко от моего дома среди разноцветных торговых ларьков стоит и будка сапожника. За открытым окошком — знакомое лицо ещё молодого, лет за тридцать, но уже грузноватого армянина, с утра до вечера колдующего над обувными колодками. Раз-другой в год сдаю ему в починку обувь. Работает он неторопливо. Но уж сделает на совесть. Однажды разговорился с ним об армянском хачкаре — вертикальном камне с высеченным на нём узорчатым изображением креста. Такой крест-камень красуется в одном из сквериков недалеко от саратовской набережной. После этого здороваемся, встречаясь и на улице.

На моей кухонной полке стоят два небольших кубка, искусно выточенных армянским мастером из оникса. Иногда наливаю в них коньяк, по возможности армянский, лучше которого для меня по-прежнему разве что французский.

И всё-таки не нахожу ответа, отчего так спокойно моей душе при негромких звуках этого незатейливого музыкального инструмента. Да и нужен ли ответ?

Пусть задерживает взгляды прохожих красавец-хачкар, приветливо открывается с утра окошко в мастерской знакомого сапожника-армянина. И пусть звучит печальный дудук, когда просит душа.

Кочевники поневоле

В недостроенной и заброшенной даче недалеко от автобусной остановки поселилась семья таджиков. Парень, подросток, девушка в шароварах. Это кого я увидел. Вежливо поздоровались со мной. Парень с подростком выгоняли через дорогу в поле стадо коз на выпас. И немалое стадо, в несколько

десятков голов. В дачном дворе уже и загон соорудили из палок и досок.

Представил себя в их положении—среди чужих людей, в постоянной заботе о пропитании и пристанище. Вряд ли был бы счастлив. А они спокойны, доброжелательны. Девушка, закрыв ворота, безмятежной походкой возвращалась в дачу. Может, лепёшки испечёт к завтраку? Парень с подростком направили стадо в ложбинку со свежей травой. Их неторопливые движения, искринки в глазах говорили о том, что они довольны своим положением. Наконец они устроились как дома. Пусть и ненадолго. Сегодня—их день. Даст Бог, и завтра день будет их.

Вскресе таджики со своими козами и в самом деле уехали. И загон разобрали, увезли. Зброшенная дача по-прежнему зияет прорехами на втором этаже. Двор опять пуст и никому не нужен.

Лепёшка по древнему рецепту

Где-то вычитал, что в древние времена пастухи ставили плоский камень на два других, служивших ему опорами, и под ним разводили костёр. Когда плоский камень становился тёплым, его смазывали маслом, а когда раскалялся—на нём пекли лепёшки. Пастухи бережно укладывали их в свои выдавшие виды сумы и отправлялись со стадом в дальнюю дорогу.

Казалось бы, ничего особенного в пресных лепёшках. Только завораживает уже замешивание теста. Неведомый тебе хлебопёк тысячи лет назад, как и ты, расчётливо насыпал в подходящую посудину или прямо на стол, любую ровную чистую поверхность меру муки, бросал щепотку соли, наливал из кувшина тёплой воды и заботливо мешал руками эту чудесную смесь.

Невольно вспоминаешь, как ловко вымешивает тесто мама, затевая свои тающие во рту пироги, и напрасно стараешься повторить её движения, у тебя всё равно выходит угловато, по-мужски. Но вот тесто готово. Какое-то время оно ещё держит тепло твоих рук. Сбиваешь его в колоб и накрываешь полотенцем, чтобы оно успокоилось, отдохнуло перед превращением в хлеб наш насущный. Радующее глаза готовое тесто, жар согревающего и озаряющего огня во все времена поддерживали чувство уверенности в сегодняшнем, значит, и в завтрашнем, дне.

Пусть твои тонко раскатанные лепёшки, похоже на армянские лавашы, пекутся не на раскалённом камне, а на сковороде, на газовом аккуратном пламени. Всё равно каждая испечённая лепёшка с простым, казалось бы, вкусом, солнечным образом своим в один миг соединяет тебя со всем человеческим родом.

До первых пресных лепёшек судьба людей была ещё, может быть, под вопросом. С колесом лепёшки она устойчиво покатила в будущее,

добравшись и до наших, далеко ещё не последних дней.

У прилавка с сушёными фруктами

Обычный прилавок в современном продуктовом павильоне с высокой стеклянной крышей. На узких полках разложены сухофрукты и пряности. Мимо проходят озабоченные хозяйки, не обращая особого внимания на выставленные лакомства. А у тебя разбегаются глаза.

Конечно, разноцветные цукаты из корок дыни и арбуза, чернослив с масляным отливом, сладчайший урюк, светло-серый загадочный инжир, россыпи изюма всех цветов и размеров, смеси сухофруктов из яблок, слив, груш и вишни тебе хорошо знакомы. Но твой личный вкусовой опыт растворяется у прилавка, над которым время, кажется, замерло. Библейская смоква, или инжир, финики, курага и их соседи по полкам тешат людей с глубокой древности. Верблюжьи караваны и парусники с просмоленными бортами без устали перевозили из одного края света в другой тщательно упакованные тюки с плодами жизни. Правда, о них говорят куда меньше, чем о поднятых со дна моря античных амфорах и статуях. Они ведь не исчезали и остались такими же, как и в те давние времена.

От пряностей голова идёт уже кругом. Драгоценные стручки ванили, рогатый имбирь на все случаи жизни, бодрящая корица, ароматный кардамон, целительный чёрный тмин, жгучая гвоздика, заветный шафран! Чудится в них, изысканных и дорогих, блеск сокровищ из сказочных пещер. Редкие в наших кухнях зира, пажитник, куркума и кунжут соседствуют с привычными красным перцем, анисом, кинзой, барбарисом, укропом, петрушкой, мятой и базиликом. И ещё с десятком-другим перетёртых в порошок и заманчиво пахнущих растений, помогающих блюдам раскрывать свои вкусовые богатства. Все они надёжно хранят память о летней огородной зелени.

С трудом отрываешься от созерцания волшебных полок. Кажется, веет от них лёгким ароматом плова и тонким запахом выпечки.

Наконец встречаешься глазами с уже знакомым улыбающимся хозяином прилавка. Ему лет сорок. Невысокий, со смуглым круглым лицом и сам весь округлый, уютный. На голове его непрямая тубетейка. В праздничные дни он бережно держит в руках раскрытый Коран. Обходительный, уступчивый, желающий здоровья, от души благодарящий за покупку и с готовностью выходящий из-за прилавка, чтобы помочь уложить её в пакет, он тоже напоминает торговца из восточных сказок. Для полного сходства ему не хватает разве что полосатого халата и платка вместо пояса.

— Салям алейкум, Зариф!

— Алейкум салям, дорогой! Что пожелаете?

Пасечник с горящими глазами

В сельской глубинке на краю берёзовой рощи в окружении лугов и пашен раскинулась пасека ульев на семьдесят. На пасеке вас встретит высокий, ладно скроенный, ловкий в движениях сорокалетний красавец-мужчина. «Костя», — представится он. И улыбнётся тепло, открыто, как улыбаются люди, знакомые, по крайней мере, со школьных лет.

Костя расскажет вам о жизни и смерти пчёл. Поймает трутня и объяснит его отличие от рабочей пчелы. Покажет и воскотопки собственного изобретения, и роёвни, закинутые до времени на деревья, и вырезанную на всякий случай дубину. Проводит к гнезду зяблика рядом с пасекой. Угостит чаем, заваренным с чабрецом и зверобоем, тут же мимоходом сорванными. Предложит к чаю целое ведро медовых обрезков. Восседая с сияющими глазами возле шаткого столика из ящика и досок, он в довершение наглядно покажет и свою весеннюю прививку от пчелиных укусов. На лету поймает пчелу, кажется, специально к нему подлетевшую, приставит к тыльной стороне ладони, подержит немного и выдавит жало.

Костя легко переносит дожди, холода, комаров, одиночество и ночь непроглядную. Главное, чтобы утром солнце не подвело. Всего важнее для Кости и его пчёл проснуться пораньше и с ходу взяться за привычное, любимое дело, которое кормит семью и с которым не собьёшься с дороги.

Рассказ хозяина пасеки вместе с близким не замолкающим гудением и мельтешением завораживают. И уже сам хозяин с его неумолимостью, приятно гудящим баритоном кажется вам большой доброй хозяйственной пчелой. А его выдавшая виды будка — ещё одним ульем, только тоже очень большим.

Будь его воля, Костя полетал бы со своими пчёлами. Ради удовольствия увидеть сверху блеск цветущих полей, почувствовать зов нектара, ощутить брюшком желанный атлас медоносов и вернуться домой обременённым сладкой тяжёлой добычей. Может, подобное желание возникает и у лётчиков. Желание самому взмахнуть в небо, не в железной капсуле с приборами управления, а подобно птицам, свободным в своём полёте.

Внутри деловито жужжащего пчелиного мира не верится в его предрекаемую учёными гибель. Но если до этого дойдёт, то изумлённым взорам людей однажды предстанет летящий рой во главе с человеком. Это Костя поведёт пчёл в края, свободные от болезней, бескормицы и человеческой жадности. Они будут лететь, не останавливаясь, пока не доберутся до своего вечного медового пути.

Возможность горизонта

Вышел рано утром из зелёной садовой лагуны и налегке отправился к манящему небосклону. Радость охватила, стоило только пройти несколько шагов

по мягкой песчаной колее, поросшей невысокой травой. Небо хмурое, но солнце золотит восток.

Говорят, что до горизонта, если его видимую линию обозначить каким-нибудь деревом или холмом, всего километра три-четыре. Но дойдёшь-то до дерева или холма. Горизонт по-прежнему будет впереди. Он похож на взрослого человека, протягивающего ребёнку игрушку, побуждая его двигаться. Каждый раз, когда маленькая рука готова схватить забаву, игрушка отодвигается дальше. И человек опять идёт вперёд, слегка покачиваясь на ещё слабых ножках.

Во время праздной одинокой ходьбы мысли приходят самые неожиданные. Вспомнилась вдруг сцена из недавнего фильма «Ной», в которой небесные стражи говорят: «Мы поможем этому народу построить ковчег». Подумалось, что всегда найдётся человек, которому стоит помочь.

Дорога вьётся между холмов. Холмистая местность. Звучит обыденно. Но вот несколько холмов расположились друг за другом наискосок, и я увидел сразу несколько горизонтов. По одному над каждой верхушкой. Образовалась своего рода прерывистая линия, ведущая к всё более далёким горизонтам.

Как-то разговорились с приятелем о годах и болезнях. Увы, они берут своё незаметно и необратимо. Порассуждав, пришли, однако, к выводу, что дело не столько в годах и болезнях, сколько в ясности мышления, которое редко кому удаётся сохранить до глубокой старости. Но обнадеживает, что кому-то это удаётся.

Ещё говорят, что горизонт всегда у нас под ногами. Только это чужой горизонт. Может, и наш под чьими-то ногами, да за расстоянием не видно. Поэтому горизонт всегда выглядит чистой линией, пусть изломанной холмами или даже горами.

Это как счастье. У каждого оно своё. Например, для жителей Фарерских островов, по их словам, счастье невозможно без тишины, душевного спокойствия, размеренной понятной жизни. Они хотят точно знать, что будут делать через полгода в четверг. Другие бы от такого счастья заскучали. И всё-таки у каждого оно связано с радостными ощущениями.

Прошёлся немного берёзовой рощей вдоль дороги. Сквозь зелень листвы проглянули лёгкие белые облака на голубом небе. Задышалось легко, пахнуло лесной свежестью. В высокой траве заметил стайку кормящихся скворцов. Застучал дятел по стволу. Словно отбойным молотком прошёлся. Рядом со мной неожиданно «крякнула» иволга и тут же выдала короткую мелодию на флейте.

И опять вышел на припорошённую пылью дорогу.

Наконец она вывела на высокий волжский берег. Великая река широким, блестящим под солнцем полотном уходила на север и юг. Кажется, вместе

с рекой взгляд дошёл бы до соседних городов, а там и до дальних. За спиной раскинулась давно обжитая земля. А за Волгой—бескрайняя степь. Днём перед бредущими по ней пастухами колыхнутся марева, а ночью они видят со всех сторон мерцающие таинственные огоньки.

Видения в осеннем саду

В поздний осенний день, ещё светлый, не слишком холодный, но уже пустынный, в саду, бывает, как наяву увидишь родных тебе людей, гулявших, хлопотававших здесь погожим летним временем.

То почудится, что Тима пробежал с палочкой в руке, что-то, как обычно, напевая. Куда он бежал? Наверное, к качелям за баней. Там, в тени яблонь, его ждут улыбающийся двоюродный братик Никитка с большим мячом в руках и добродушный шарпей Ричи, устроившийся на прохладной травке.

Собираешь упавшие незрелые зимние яблоки и на автостоянке из щебня с проросшей травой вдруг представишь Ванюшку, неторопливо укладывающего в багажник рыболовные снасти.

Посмотришь в сторону холма—погрезится, что под дубом возится с жуками-оленьями «дядя Боря», приехавший погостить на недельку из далёкой Эстонии. В руках у него фотоаппарат с внушительным объективом.

Воображение разыгрывается. Стоило подойти к беседке, как показалась жена, несущая на большом подносе завтрак для меня. Невольно дёрнулся, чтобы помочь ей спуститься по крутым ступенькам террасы, но видение растаяло.

Зато беседка за спиной наполнилась голосами. Отчётливо донёсся добродушный, со смешинкой, голос свата, к нему добавились жизнерадостные интонации сватьи, тонкие, по сути девчоночьи, восклицания невесток и густой баритон Кирилла. Обернулся, но только виноградные подсохшие листья прошелестели под порывом ветра.

Вспомнилось, как украсил наши застолья в беседке старинный абхазский кувшин для вина, доставшийся от приятеля.

Где они, дни семейных сборов с приятными хлопотами и дни разъездов, напоминающие иной раз итальянскую комедию с её суетой и неразберихой?

Давно растаял в зелёных окрестностях дым от мангала. И дым из банной трубы достиг, наверное, высоты, с которой он раз за разом настойчиво и бодро устремлялся.

В вечернем саду тихо. Доносится только слабое стрекотание редких осенних сверчков.

Новое вино на Зелёном

Мы опять с другом на Зелёном острове. Вокруг песок и царственные дубы в окружении мелких зелёных зарослей.

Находим виноградник приятелей и пробираемся густыми рядами кустов с резными листьями к

тихому волжскому заливу. Выходим к деревянному причалу. К нему привязана лодка, приготовленная к рыбалке. Забытый уголок.

И вот уже сидим на берегу возле бани за крепким столом на удобных широких лавках и пробуем новое вино.

Разговор наш незатейлив—о том, что видим и слышим.

В камышах показалась пара диких чёрных уток с белыми клювами и белыми пятнами на лбу.

— Это лысухи,—говорит мой друг, знаток лесов, водоёмов и их обитателей.

— Если у лозы загнутый край, значит, она растёт, тняет урожай,—замечает хозяин виноградника, сам похожий своим сухим гибким телом на матерую лозу, такую же сухую, витую из древесных мускулов, крепкую.

— Виноград так влечёт к себе, что про усталость забываешь,—добавляет улыбчивая хозяйка, расставляя на столе закуску под вино—хлеб, сыр и зелень.

Что-то неуловимое зашумело над нашими головами. Мы посмотрели вверх и увидели над собой бескрайний и бездонный небесный океан, свободный, как и наши сердца в этот миг.

— За впечатления! За лучшие впечатления!—прозвучал и мой тост.

Сухое вино гранатового цвета оказалось терпким на вкус, с ароматом чернослива и немного вишни и чёрной смородины.

Бокал домашнего вина!

Как согревает душу он.

И думается легче.

Решили, что доброе вино стоит хорошей книги, ласкающей слух мелодии или яркого живописного полотна.

— Утром возле ёмкости с водой нашли спящего ежа,—продолжают хозяева.—Свернулся клубком и спит себе, ни о чём не беспокоясь, только брюшко тихо вздымается.

По веткам порхает молчаливая сорока. Из-за забора показался молодой чёрный кот, тихо мяукнул, поглядев в нашу сторону.

Вчерашний дождь увлажнил землю. Солнце нежаркое, июньское. Каждая травинка радуется жизни.

Мягкий хмель тем временем потихоньку кружит голову.

Над нашим дружеским столом витает лёгкий дух беззаботности.

Последние волхвы

Опять поспорили с Яшшой из-за рукописи в литературный альманах. Хотя, казалось бы, чего спорить? До него и дела-то никому нет, за исключением нескольких таких же, как и мы, чудаков.

Но, с другой стороны, чудачки на многое способны. Тот же Яшша, обрусевший осколочек удинов,

исчезающих с лица Земли, мог и не состояться как писатель. Но он наперекор всему состоялся. И теперь память о горестях и радостях кавказского народа, принявшего христианство ещё в четвёртом веке, будет жить и в его книгах.

Зародилось в душах нескольких пишущих чудачков желание собрать под одну обложку авторов, уважающих каждое своё слово и подмечающих вокруг себя в первую очередь блеск солнца, дыхание растений, голоса птиц и человеческую любовь. И вот мы с Яшшой колдуем над очередным номером альманаха, чтобы не задуло ветром равнодушия его чистый огонёк, раздвинуло тьму хотя бы вокруг нас.

Тираж альманаха невелик.

Немногочисленны и его читатели.

Мы как последние волхвы, покинутые паствой ради других богов. Но мы ещё живы и по-прежнему одухотворённо смотрим на окружающий нас мир. И всё так же хотим передавать людям свои тайные знания. Мы почему-то уверены, что они им пригодятся.

Когда-то считалось, что книги в старости остаются единственными друзьями, когда уходят живые. Люди искали покоя и находили его опять же с книгой.

Вернутся ли эти времена, и что будет дальше?

Далёких молний не бывает

В саду с утра шелестит дождь. Неожиданно со стороны Волги блеснула молния. И сразу, без обычной задержки, раздался оглушительный удар грома. И вновь мерный шум дождя, будто ничего и не было.

Накануне разговорился на автомойке с владельцем дорогой иномарки — хорошо одетым, подтянутым и ухоженным мужчиной лет шестидесяти. Разговор после короткого обмена информацией о растущих ценах на бензин и машины свернул в неожиданную сторону — мы заговорили о превратностях человеческих судеб. И мой случайный собеседник, назвавшийся Анатолием, рассказал историю своей семьи.

— Мои корни в Большой Казачке, что за Калининском, бывшей Баландой. Семья была бедняцкая, перебивались с хлеба на квас. По семейным традициям, дед, когда дети выросли, собрал всех и сказал: «Расходимся на два года зарабатывать, потом сойдёмся, сложимся и заживём как следует». Сыновья нанялись работниками к богачам, сам дед стал пасти свиней, некоторые из женщин христардничали. Через два года сложили заработанное и сразу встали на ноги — купили землю, скотину, плуги, бороны и другие необходимые в хозяйстве вещи. Но вскоре грянули революция, Гражданская война, а за ними и коллективизация. Вступать в колхоз дед наотрез отказался: «Столько горбатились всей семьёй, а теперь отдавать нажитое

чужому дяде?» Его с ещё одним отказником отвезли в кутузку возле Лысых Гор, километров за сорок от дома. Посадили, как говорится, на воду и солому, чтобы взять на измор. Но они не соглашались, сидели, пока помирать не стали. Тогда их отпустили. Как раз перед посевной. Дед идти уже не мог, попросил молодого сокамерника помочь: мол, потом родня расплатится. Тот тащил, пока хватало сил. Но тоже ослаб. Еле добрался до села, передал родным деда, где его искать. За ним поехали, нашли на обочине с выклеванными вороньём глазами. Но живого. Так он слепым и доживал. А младший сын его, мой отец, во время войны попал в плен. Выжил, можно сказать, чудом. На родине отца ещё на три года в лагерь отправили. Правда, ему повезло — строил метро в Москве.

Закончив рассказ, Анатолий пожал мне руку, и мы разъехались каждый в свою сторону.

А услышанное всё не отпускает. Из головы не шла дорога между Лысыми Горами и Большой Казачкой, хорошо знакомая и мне. Она и сейчас не везде обсажена деревьями. По обе стороны одни поля, пересыхающие летом русла ручьёв, овраги, где-то за ними крыши редких сёл. Пустынный и в наши дни край.

Неизвестно, где был оставлен дед Анатолия. Примерно на полпути дорога выводит на вершину высокого холма. С него он мог бы увидеть Баланду, от которой рукой подать и до Большой Казачки. Но, скорее, он остался лежать ближе к Лысым Горам. Вряд ли обессиленный односельчанин смог его далеко протащить. Самому бы спастись.

Наверное, поначалу ещё недавно крепкий мужик, привыкший пахать от зари до зари, пытался как-то двигаться вперёд, хоть на карачках, ползком. Но где-то за полдень, когда и весеннее солнце припекает, силы могли его оставить. Тогда он упал на спину или перевернулся на неё, бессознательно стремясь к свету.

Представилось, как дед Анатолия беспомощно лежал, раскинув руки, на покрытой свежей травой обочине. Рядом жужжала одинокая пчела. В небе заливался жаворонок. Ветерок доносил с полей запах влажной земли.

О чём ему думалось?

Может, он звал жену, детей? Вспоминал свою большую деревенскую родню? Может, вся жизнь промелькнула перед ним в одно мгновение? Или ему припомнились запахи расцветающей сирени возле лавочки за забором, жар домашней бани с запахом дубового веника, до которых он был большим охотником?

Вряд ли он услышал хлопанье птичьих крыльев, только пронзила его последняя перед забытьём боль от острого клюва, заглушившая приближающийся лошадиный топот и скрип крестьянской телеги со стоящими на ней сыновьями, напряжённо оглядывающими окрестности.

В Монастырском

Довелось заехать в село Монастырское, родину известного советского писателя Михаила Алексеева. Первый же встречный на вопрос, а где здесь дом Алексеева, ответил: «Да я в нём живу».

Бывший дом Героя Труда и лауреата многих премий и наград со всех сторон окружён густыми рядами картофеля. В большом кирпичном квадратном здании, выделяющемся среди обычных деревянных домов, когда-то было одиннадцать окон. Половина их заделана. Хозяйка объяснила: «Он стихи писал, ему света больше надо было, а нам к чему столько окон?»

До этого в доме, уже после Алексеева, жил председатель местного колхоза имени Горького. Литературному классику посередине площади поставлен памятник: молодой Горький с книгой в руке, с развевающимися волосами, стройный, высокий, бодро смотрит вдаль и одновременно на дом Алексеева.

А вокруг пустой, в ухабах, площади — деревенское безлюдье, серые незавидные постройки. Село доживающее. Уже закрыта школа, а с ней и школьный музей с алексеевскими экспонатами.

Не знаю, где писал Алексеев своих «Драчунов», но трагедия голодомора, о которой он рассказал на страницах романа, разворачивалась вот на этих пыльных улицах, окрепших было и захиревших уже при продовольственном изобилии.

На этой изъезженной, истоптанной земле страдала верная Журавушка, здесь тянула свой тяжёлый воз старая, ленивая, но надёжная кормилица Карюха, где-то должен быть и Вишнёвый омут в протекающей рядом речке. Может, смотрелись в него, волнуясь от влекущей тайны, и эти две девчушки, спокойно, весело переговариваясь, прошедшие по своим делам за околицу.

Я не нашёл алексеевского «гнезда». В его доме, о котором писатель при жизни тепло вспоминал, живут случайные люди. Канул в лету и окружавший его, казалось, на века, колхозный мир.

Но заросли деревьев вокруг села по-прежнему густы и зелены. На песчаной речной отмели привычно играют дети. Далеко вокруг раскинулись поля новых хозяев сельской жизни с колосащейся пшеницей, кормовыми травами и подсолнухами. Они весело смотрели после прошедших дождей в чистое голубое небо.

Смерть Пегаса

В далёкие советские времена моего отца, офицера-пограничника, перевели служить на заставу, стоящую на украинском берегу Западного Буга. Застава была обособленным миром. Но он общался, например, с миром колхозным. Колхозникам разрешали косить густую высокую траву в заливных лугах нейтральной зоны. Взамен они снабжали пограничников мясом, салом.

Однажды на заставу привели списанную колхозную лошадь по кличке Пегас. Он был весь в рыжих и коричневых пятнах. И был очень худ. Одни кости да кожа. Мне объяснили, что его откормят и пустят служебным овчаркам на мясо.

Несколько раз в день я выпрашивал у матери и приносил в летнюю конюшню хлеб и сахар. Пегас аккуратно брал их с моей ладони нежными трепетными губами, встряхивал головой, с одобрением, как мне казалось, поглядывал на меня. Поначалу я с опаской посматривал на его огромные жёлтые зубы. Но вскоре привык. К строевым коням подходить запрещалось. А возле него можно было постоять, дотянуться и погладить ладонью его бархатную щёку.

Он был обычной рабочей конягой, тихой и нетребовательной, привыкшей к ежедневному хому. Но постепенно взгляд его веселел, бока округлялись. Во время учений на границу отправилась большая группа солдат. Лошадей не хватало, и оседлали Пегаса. Возвращаясь, устроили соревнование — кто быстрее доскачет до ворот. Отъездивший Пегас обогнал пограничных лошадей. Я радовался за него, во мне зародилась надежда, что, может, его оставят и он будет служить как все.

Всегда как-то утром на хозяйственный двор, я увидел солдата с понуро стоявшим возле него Пегасом. Одной рукой солдат придерживал его за поводья, в другой держал пистолет. Потом приставил дуло к замершему лошадиному уху. Пегас не дёрнулся, не вскинул голову. Он всё так же понуро стоял, поджав ногу. Прозвучал негромкий хлопок. Когда я подошёл, Пегас уже лежал на боку, подмяв под себя редкую сухую осеннюю траву и вытянув голову с застывшими равнодушными глазами. Во двор заходили ещё солдаты, чтобы разделать тушу.

Над основным лесом за полем всходило, как всегда, солнце. За забором, возле жилого корпуса заставы, слышались командные голоса. Всё вокруг было обыденно, спокойно. Только вороны кричали громче обычного, видимо, возбуждённые скорой поживой.

На заставе все хозяйственные дела совершались открыто. В свои шесть лет я уже видел, как отрубали топором головы успокоившимся курам, вбивали штык-нож в горло визжавшей свинье. Поэтому не заплакал при виде поверженного Пегаса. Развернулся и побрёл домой. Но меня смущали новые, горькие чувства. Ведь куры и прочая живность для солдатской кухни были мне чужими, как пойманная в Буге снулая рыба или дерущиеся из-за хлебных крошек воробьи. Я не относился к ним по-товарищески. А о Пегасе заботился и всем сердцем желал ему лучшей доли. В его убийстве была жизненная необходимость, оправданность. Я понимал это, несмотря на свои малые годы. Но была в его смерти и явная для меня

несправедливость, нечестность по отношению к простому коню, который стал скакать быстрее строевых.

Мне было жалко Пегаса. Мне его и сейчас жалко. Руку солдата, приставленную к уху обречённо стоявшего коня, и хлопок пистолетный помню, как будто это случилось вчера.

Лёгкий стук молотка

Дождь шёл всю ночь и утро. Стоило ему утихнуть, как всегда бодрая воробьиная семейка, деловито чирикай, тут же устроилась на проводе напротив лоджии. Мокрый сад по-своему хорош.

Когда опрыскивал клубнику, подлетела пчёлка, села на верхний ободок стоящей под краном лейки, чтобы попить. И когда я лейку понёс, она всё ещё пила воду.

Перед баней сидит, нахохлившись, птенец. Судя по молча порхающему рядом чечету—его. Маленький замерший пушистый комочек в ожидании помощи.

Трясогузка по-домашнему похаживает в беседке, покачивая хвостиком и не обращая на меня внимания.

Уже и зимние яблони доцветают, и поздние желтые тюльпаны.

Хожу, что-то делаю, а сознание витает как бы вне меня, само по себе, со стороны осмысляя мою жизнь.

Не представляю её без садовой зелени, неумолчного щебетанья птиц, ласковых солнечных лучей или умиротворяющего постукивания дождевых капель.

Не могу жить и без постоянных размышлений обо всём на свете, начиная с домашних рыжих муравьёв, так докучавших одно время, и заканчивая загадками Вселенной, не дающими спокойно спать астрономам.

Тянет к мудрецам и талантливой молодёжи.

Недавно весь день переписывался по электронной почте с писателем Ириной Сотниковой из Крыма, сказавшей, что мир изменился везде, в каждой точке, и он больше не измеряется деньгами. Тем временем сварил густую ароматную гороховую похлёбку и картофель испёк к приходу жены со службы.

Сегодня я один. Грустновато. Но разве я не винодел? И у меня в погребе нет вина? И вот передо мной бокал с вином, кусок сыра с домашним хлебом. А вино недурное—терпкое, с молодой горчинкой, свежее. И грусть потихоньку испаряется. Вновь ощутил в себе и вокруг сладостный ток жизни. Его легко нарушить лёгким стуком молотка по дереву. И невозможно прервать грохотом железных исполинов, взлетающих с заволжского аэродрома.

Перед заходом солнца напоследок осветило сад. Воздух ещё потеплел.

Хорошо бы умереть хорошо

Чехов считал, что жить вечно было бы так же трудно, как всю жизнь не спать. Умер он в гостиничном номере, вдали от родины и преданных ему друзей. Сказал по-немецки: «Я умираю»,—отвернулся к стенке и затих. Сказал по-немецки, потому что умирал в Германии, куда его, спасая, привезла жена. Значит, у его смертного ложа стояли она, чужой ему, по сути, человек, и чужой немецкий доктор.

Какая, казалось бы, разница, где и как умереть?

Почему же так трогают—стоит только дать волю воображению—собственные похороны, поминки с прощальными прочувственными речами? Оплакивание твоей преждевременной смерти близкими людьми размягчает душу, вызывая настоящие ответные слёзы. Может, потому, что ты ещё жив, а это всего лишь игра воображения—безопасная и утешающая.

А хорошо бы умереть хорошо.

В преклонном возрасте, в окружении семьи, в своём доме и без боли, по крайней мере, излишней. И чтобы в здравом уме и без страха. Собственно, вот как Чехов.

И никакого рая не надо. Нажился, хватит.

Славное бордо

Жизнь—материя вязкая, далеко не всегда удаётся отвлечься от ежедневных хлопот, чтобы оглядеться, задуматься не только о хлебе насущном. И уж тем более написать книгу о своём жизненном пути с трудами, заботами и любовью, осветившей и укрепившей его.

И вот такая книга у меня в руках. Я в гостях у её автора, много послужившего, видевшего и испытывавшего. Ему за восемьдесят, он статен, черты его лица правильны, благородны, годы только смягчили их.

Мы сидим за столом, накрытым белой скатертью. Белым чехлом накрыто и моё кресло «для почётных гостей». Хозяин угощает меня тушёной сёмгой и бордо.

А на Волге уже начал таять лёд.

И бордо—славное!

Хозяин ходит по своей большой, опустевшей после смерти жены квартире, рассказывает, спрашивает, подсаживается к столу и всё читает, читает из своей книги то, на что ему очень хочется обратить моё внимание. Читает чистым, хорошо поставленным голосом, а по его щеке то и дело скатывается одинокая слеза. Он извиняется, смахивает её и опять читает, и новая слеза наворачивается.

Что поделаешь?

Душа не может всё время взмывать вверх. Ей тоже нужны передышки. И она снижается, вводя человека в уныние. Но потом, отдохнувши, опять дарит ему надежду, вновь тянет его вверх, к свету.

Говорят, что человеку нужно многое, весь мир. Но достаточно и малого. Скромного сада на высоком волжском берегу и островка напротив, над которым развеян дорогой прах, как было завещано. Ведь в этом тихом, родном уголке необъятной Земли прошли лучшие дни твоей и её жизни.

А бордо и в самом деле славное!

Наш разговор прерывает звонок сына с Ямала.

Хозяин показывает фотографию дочери сына — красивой молодой женщины с улыбающимся младенцем на руках. Фотографиями улыбающихся детей, внуков и правнуков заставлены все полки.

Считается, что русские любят вспоминать, но не любят жить. А рядом со мной читает вслух свою книгу русский человек, который и жить любил и любит, и вспоминает об ушедших годах с любовью, хотя всякого хватало.

Славное, славное бордо!

Последний птеродактиль

В советские времена фотолаборатории на предприятиях и в учебных заведениях часто устраивали в туалетах. Почему-то считалось, что их слишком много, а обустройство выходило недорогим. Вода подведена, есть слив, и затемнять помещение не надо, поскольку нет окон.

И эта действующая с первых послевоенных лет фотолаборатория размещена в длинной узкой комнате с торцевой стеной из мутных стеклопакетов, прикрытых чёрной упаковочной фотобумагой. С двух сторон тянутся полосы потерявшей цвет кафельной плитки. Над ней — оголившиеся красные кирпичи в белых прожилках известкового раствора. В нескольких оставшихся кабинках урчат холодильники с хранящимися в них фотоматериалами. Ряд обычных кранов нависает над внушительной бетонной ванной на месте давно забытых толчков. В ней когда-то привычно стояли лотки с проявителями и закрепителями, тоже полузабытыми. Впрочем, здесь и сейчас можно изготовить фотографии по старинке.

Лаборатория неспешно, но неустанно работает. В ней тесно от фототехники и бутафории на все случаи жизни. Для её заведующего, известного фотографа, она давно стала вторым домом, вся его профессиональная деятельность сосредоточена в этих уже музейных стенах.

Говорят, что лучший день для посадки дерева — сегодняшний: деревья растут долго. Пожалуй, и лучший день для фотосъёмки — сегодняшний, ведь завтра мир станет другим.

Вычитал, как в двадцатые годы прошлого столетия фотограф работал с деревянным штативом и двумя деревянными кассетами с четырьмя стеклянными фотопластинками. Он неспешно ходил, ставил штатив, смотрел, шёл дальше. К вечеру делал всего четыре снимка, таская все эти тяжести. Сегодня такие фотографии на вес золота.

«А я размышляю над фотомонтажом о последнем птеродактиле на Земле, — рассказывает заведующий. — Его единственное оставшееся яйцо разбито — больше птеродактилей не будет! Потеря оплакивается всеми, кто рядом. Это созвучно мыслям о последних людях на Земле. Когда-то ещё такой момент наступит, а печаль на сердце уже сейчас».

В глазах мастера, повидавшего столько лиц, впитавшего в себя столько чужих взглядов, светится неистребимое любопытство человека, с детских лет замороженного чудом рождения образа на чистом листе бумаги.

Люди уходят, техника меняется, здания рушатся, когда-то наступит черёд и этой повидавшей виды фотолаборатории, но что-то остаётся нерушимым.

Что?

Квартира с видом на луг

Мартовское небо с утра нахмурилось, закрапал дождь, сырой воздух на глазах сгустился до туманной дымки. Но с девятого этажа моего дома видно, как в наполненной талой водой мелкой выемке, устроенной на пустынной земле бывшего авиационного завода, плавает пара диких уток-крякв. Чтобы удостовериться, посмотрел в бинокль. Да, самец и самка. Отчётливо видны зелёные голова и шея селезня, бурые перья его подруги. Она держится впереди. Он заботится о её безопасности, не важно, что вокруг никого нет. Плавают спокойно по большой луже, слегка обрамлённой прошлогодней высохшей травой. Откуда они взялись? Им и есть-то здесь нечего.

Эх, воля вольная — ты одна чего-нибудь стоишь!

Утки — птицы небольшие, уступают в размахе крыльев гусям и орлам. Но летуны они прекрасные — и под облака взлетят, и сотни километров за день отмахают.

Наверное, не я один наблюдаю за пернатой парой. Большинство моих соседей — из бывших самолётостроителей. О чём думается им при виде отдыхающих уток на месте порушенных цехов?

Завод был историческим, гордостью столько поколений. И людей на нём хватало одарённых, увлечённых своим делом. Но это не помешало мошенникам разграбить предприятие, выпускавшее в последние годы надёжные и неприхотливые пассажирские Яки.

Завод ушёл в прошлое, да и утки — не будущее этого загороженного городского луга, зарастающего травой и кустарниками в ожидании новых хозяев, далёких от всяких полётов. Свободным птицам ничего не стоит сняться с мелководья и вновь встать на крыло.

После обеда хмарь развеяло, и небо заголубело.

В очередной раз взглянул на одинокий водоём — он был пуст.

Корова, сестра моя

Летом Владимир Петрович гостил у деревенской родни. Помогал по хозяйству, ходил за околицу на небольшую, заросшую камышом речку, призраиваясь с удочкой на шатких мостках, бродил по недалёкому лесу в поисках земляничных полей. Было непривычно тихо вокруг, спокойно, мирно.

Однажды соседи, муж и жена, позвали помочь с коровой, которая не смогла разродиться. Вслед за хозяевами Владимир Петрович зашёл в сумрачный небольшой хлев. Терпко запахло свежим навозом. В углу жалобно мычала лежащая на измочаленной соломенной подстилке корова. Владимир Петрович разглядел светлые пятна на тёмной шерсти. И ещё понял, что дела её плохи. Телёнок был мёртв, надо было спасать саму роженицу. Хозяева попросили Владимира Петровича поддержать ей голову, пока они попытаются вытащить незадавшийся плод. Ещё сказали, что если не удастся, то корову увезут на забой. А она молодая, здоровая, жалко такую терять.

Корова, несмотря на своё удручающее положение, с коротким любопытством скользнула по незнакомому лицу. Своими печальными с поволокой глазами она неожиданно напомнила Владимиру Петровичу давно умершую старшую сестру. Он положил крупную коровью голову с аккуратными рогами-серпиками себе на колени, стал поглаживать шерстяные щёки и приговаривать успокаивающие слова, которые говорил бы и ребёнку: — Чу, чу, не бойся, всё будет хорошо...

Корова, уже не отрываясь, глядела на Владимира Петровича. Доверившись ему, она перестала мычать и вздыхать стала реже и не так глубоко. Владимир Петрович даже почувствовал некую душевную ниточку, связавшую их обоих в одночасье. Он продолжал утешать её словами, судя по недоуменному взгляду хозяйки, не принятыми в обращении с животными. В ставших вдруг близкими выпуклых глазах под густыми ресницами легко читалось выстраданное желание: «Может, и в самом деле всё будет хорошо? Закончатся мои мучения, я отдохну, встану, и меня отведут пастись на ближний луг».

Меж тем муж с женой, что-то отрывисто говорившие друг другу, разом замолчали, обречённо опустив измазанные в крови руки. Владимир Петрович ещё какое-то время бережно поддерживал коровью голову, не в силах оставить её. На него по-прежнему неотвязно смотрели глаза сестры. И в них ещё жила надежда.

Выйдя на свет, Владимир Петрович стал машинально отряхивать брюки от густо налипших коричневых шерстинок. Не попрощавшись, пошёл домой.

Кто ты?

С возрастом острее замечаешь, как всё вокруг вертится в привычном чередовании. Это верчение

напоминает бег на месте. И нарастает желание остановиться, прекратить толчение воды в ступе.

Бывает, что размышления о суете жизни подталкивают к затаённой мечте.

Я уже седой, дети давно обзавелись семьями, а мне всё грезится чудесная жизнь без сожалений и страха перед будущим, где я выгляжу обаятельным, умным, ловким, окружённым красавицами, где всё кажется ярче, изысканнее, дела вершатся сами собой и каждый день светится радостью.

Со временем пришло понимание, что все эти сладкие, терпкие грёзы относятся не ко мне, а к другому существующему внутри меня человеку, которому я не позволил развернуться в предназначенные ему ширь, мощь и красоту.

Человек этот не имеет отношения к моей душе, с которой я веду постоянный разговор, или к моим мыслям, с переменным успехом пытающимся разобраться в окружающем мире, не является совокупностью моих неосуществлённых способностей и качеств...

Так кто же этот человек, оставшийся во мне зародышем, тревожащим, будоражащим всю жизнь? Откуда он появился? Почему его несостоявшаяся жизнь так желанна и мне?

У магазина

Укрыльца продуктового магазина встретил пожилого мужчину, можно сказать — старика. В каком-то малахае на голове, в поношенной зимней куртке, с рюкзачком на согнутой спине, клюшкой в руках и летних кроссовках на распухших ногах. Он просяще посмотрел на меня, пробормотав, что, мол, скользко, не за что ухватиться, чтобы на крыльцо подняться. Помог ему зайти в магазин. Возле кассы опять встретились. Он укладывал в рюкзачок покупки. Увидев меня, заулыбался. Придержал ему тамбурные двери. С крыльца его снял, обхватив руками за бока, как ребёнка, заходивший в магазин большой высокий парень.

Старик, осторожно передвигая ногами по ледяным колдобинам, отправился восвояси. Вид у него жалкий, неухоженный. Но он не бездомный. Об этом говорило и спокойное выражение лица, и то, как он привычно расплатился за покупки.

Скорее всего, живёт один.

Кострища больше нет

Из-за винодельни пришлось убрать молодой абрикос, собрав с пару килограммов прощальных ароматных плодов. Я его вёл с саженца, проклюнувшегося из соседской косточки, пересаживал, ухаживал, ждал первого урожая.

Пришлось убрать и кострище.

Всего-то, казалось бы, небольшой круг обожжённой земли, обложенный дикими камнями, пара самодельных лавок и шаткий круглый стол в тенистом углу. Но камни были не случайными,

со своей историей. Старый стол, притащенный с мансарды после покупки дачи, слегка подлатанный, навевал мягкие мысли о давно прошедших временах.

Огонь кострища притягивал. В колеблющихся под любым ветерком и настойчиво рвущихся вверх языках пламени можно было найти покой, порой, напротив, затаённую угрозу и одновременно подсказку, как выйти из очередного жизненного тупичка. Вокруг кострища по большей части молчали, а если говорили, то не о том, как день прошёл. Прошёл и прошёл...

Возле винодельни соорудили широкую «палубу» из толстых досок. Поставили на неё пару пластмассовых стульев. Сели на них с сыном, призадумались.

Днём по садовым дорожкам ползал опоздавший на праздник своей короткой жизни жук-олень. Жалко тыкался во все стороны. Всё было при нём — блеск чешуи, грозные рога. Но уже не было самок, соперников, и сок дубовый оказался не нужен.

Красота, решили мы, спасает мир, а спасёт или нет — кто знает? Даже ночью, бывает, чувствуешь присутствие солнца.

Эх, кострище, где ты?